

ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕНКОВ

Пыльные записки



Рисунки Наталии Овчеренко

Евгений Николаенков

Пыльные записки

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=44135071

Пыльные записки / Евгений Николаенков: Эдитус; Москва; 2019

ISBN 978-5-00149-151-4

Аннотация

Просто идите вперёд! Просто и смело погружайтесь! И плывите по течению!

Нет и нет! Я также не хочу уверить читателя в том, чтобы он «полюбил» бы мои «ошибки»! И звучит-то как! Или как-нибудь сказать, что я тут вот с вами со всеми ни с кем не считаюсь и пишу, дескать, как хочу! И не желаю иначе! Нет, нет и ещё раз нет!

Я лишь взываю, прошу хотя бы на миг прикрыть глаза, и, как я уже говорил, лететь, парить и отправиться в совместный путь со мною... И, насколько это возможно, «отпустить» действительность! Насколько это возможно, конечно же...

Но, главное, мой совет, «войдите в ткань, растворитесь!...» Впрочем, этот совет я бы дал и на прочтение любой другой «серьёзной книжки».

Содержание

Вместо предисловия	4
Мечтатель	13
Пыльные записки	38
Часть первая	40
Глава I	40
Глава II	42
Глава III	45
Глава IV	51
Часть вторая	55
Глава I	55
Конец ознакомительного фрагмента.	61

Евгений Николаенков

Пыльные записки

Моим близким

Вместо предисловия

Набравшись сил и, надо сказать, ещё более терпения, решился и я на подобный «опыт» для себя.

Ранее, конечно, уже выходила моя первая книжка, и называлась она «Триста вуалей под розовым зонтиком».

Но то были стихи, и, конечно, дело совершенно другое.

Даже не знаю, как и почему начал я и именно со «стихов». Ведь первой пробой в моей практике была именно Проза. И пишу её даже с большой буквы.

Но я всё же пошёл на некоторую «уловку», выпустив сперва свой поэтический сборник.

Дело в том, что когда я писал прозу, а, надо сказать это было уже очень и очень давно (в промежутке с 19 лет до 21 года; сейчас же мне буквально только-только «стукнуло» 32), то есть в то время, когда ни жизненного опыта, ни практических навыков в «освоении» окружавшего меня мира у меня, собственно, не было и быть не могло никаких. Однако, я страстно любил её, и считал Высшей Ценностью, которая

только во мне и есть.

Да и делать для этого приходилось очень немало: я много и непрерывно читал и мыслил. И если что читал, то непременно лучшее. Моя первая опора – Фёдор Достоевский, и только уже впоследствии и много позже я перешёл на Льва Толстого и пошёл далее.

Однако (возвращаясь к «прозе»), друзья, знакомые на меня то и дело «набрасывались» и буквально вынуждали «распрощаться» с ней!

Правда, они так не выражались, а просто спрашивали: «Как? Ты разве не пишешь стихов? Да этого просто быть не может!» Я же знал про себя, что если я «переключусь» на лирику «рифмованную» (так как считаю свою прозу также, и даже не меньшей лирикой, и в этом, пожалуй, несколько не уступлю ни одному критику!), то непременно «сойду с рельсов», и как-нибудь, нет-нет, да и не смогу писать так «широко» и «объёмно», а главное, с такой жадностью.

И вот, забыв о своей «возлюбленной», я ринулся в бой и с головой ушёл в поэзию.

Причём надо сознаться, я не только не писал ни разу в жизни стихов, но и когда писал прозу – не только не любил и не хотел слушать и, тем более, писать, но и даже практически ненавидел их! Не мог буквально слышать ни одной строчки! Я бы даже сказал, у меня была ну прямо настоящая на них «аллергия!» Так уж на меня действовала их навязчивая и, главное, не моя ритмическая атмосфера, что ли. Я мог про-

сто заболеть от внезапно сказанной фразы в стихотворной форме и случайно оброненном на неё намёке!

Описывая всё это, я не щажу себя, знаю. Но, однако, это очень важно для меня самого – понять, как и каким образом протекало моё творчество.

Теперь же я понимаю, что это была чрезвычайно тонкая «перестройка» моего организма. Новая Веха. И она, как всякая и у всякого человека, не может протекать безболезненно. А для меня так и целая Революция!

Если раньше мне казалось легче написать сто страниц прозы, чем одно стихотворение, то теперь всё пошло буквально кверху ногами!

Правда, пришлось «расплачиваться» и не менее мне ценным: за эти уже более чем десять лет (даже около двенадцати-тринадцати, если быть точным), я толком практически ничего не написал в прозаическом смысле. Более того, я так разуверился в своей прозе и в способах «воздействия» на читателя, что уж и не думал когда-нибудь снова вернуться в это поприще...

Время, которое вращается среди нас, людей, сбивая тут и там, как какая-то большая и неотвязчивая муха по утрам, не дающая лишнюю минуту понежиться в тёплой и любимой постели своей фантазии, а также та неуклонная тенденция его (времени) к «усреднению» или даже почти к массовой буквально «ликвидации» читателя, как вида, берёт своё и воздействует так сильно и немилостиво, что в конце кон-

цов понимаешь: читатель – лишь ты один, ну и ещё пару тех стариков-мудрецов, что изредка посещают наши чудесные, но всё более и более редкие на свете библиотеки, да и то, возможно, по давней привычке своей к «общности» да и вообще от всеобщей нелюбви к одиночеству.

Однако, я сильно отвлёкся, описывая данный период моей жизни. В действительности же я хотел сказать буквально пару слов о своей старой-доброй Книге, которую теперь вы, как и я, мои дорогие, но столь редкие читатели, держите в своих руках!

Этим же своим предисловием я несколько не хотел умалять значение своей ранней работы. И всё же нахожу должным сказать, что она, как и всякие «ранние» труды, не может не иметь ну хоть малейшего изъяна. И потому прошу к ней (работе) ну хоть каплю снисхождения и терпения, как к тем маленьким и ещё нерадивым наши деткам.

Однако, изъян и очарование могут сосуществовать совсем неподалёку, всё равно как плод и случайно спорхнувшая с той же ветви весенняя птичка!..

Но главное, своим вступлением я лишь хотел объяснить читателю, и именно читателю «со стажем», то есть глубокому и вдумчивому, может быть, даже «профессионалу», что просто попросить его не сильно уж вглядываться в некоторые слова и обороты, а также иные и давно минувшие и слетевшие, как та же птица, слова речи народной, которыми подчас пестрят мои столь ранние произведения, и просто упо-

добившись ею же, свободно парить над землёй и вместе со мною тихонько взять да и «пофантазировать» немного вместе и на пару!

К тому же если вы образованны, начитанны и учёны, я бы и вовсе вам советовал отбросить все возможные принципы и правила, которыми вы прежде руководствовались в своём прочтении, цenia и любя вместе со мною весь спектр нашего многогранного, изысканного и поистине неповторимого в мире Русского Языка!

Я же со своей стороны не хотел ничего иного, кроме как сказать – просто чуть-чуть будьте проще! И в ощущениях своих, и в прочтении вашем следуйте прежде своему сердцу, нежели всем законам письма и грамматики.

Просто идите вперёд! Просто и смело погружайтесь! И плывите по течению!

Нет и нет! Я также не хочу уверить читателя в том, чтобы он «полюбил» бы мои «ошибки»! И звучит-то как! Или как-нибудь сказать, что я тут вот с вами со всеми ни с кем не считаюсь и пишу, дескать, как хочу! И не желаю иначе! Нет, нет и ещё раз нет!

Я лишь взываю, прошу хотя бы на миг прикрыть глаза, и, как я уже говорил, лететь, парить и отправиться в совместный путь со мною... И, насколько это возможно, «отпустить» действительность! Насколько это возможно, конечно же...

Но, главное, мой совет, «войдите в ткань, растворитесь!..»

Впрочем, этот совет я бы дал и на прочтение любой другой «серьёзной книжки».

Однако, и опять-таки, я не считаю свой «опыт» сколько-нибудь заслуживающим такой уж серьёзности. Мне лишь хотелось описать небольшой принцип «действий» и «руководств» по её (книге) применению в жизни. Как некий предмет быта, скажем.

Потому по прошествии долгого срока и не стал вдаваться в мелочи, и делать правки всего и вся. Сколько мог, оставлял в первозданном виде.

Больше даже скажу: я даже уж и не глядел, как там обстоит «дело». Больно много сил и времени было приложено в те довольно-таки одинокие годы моего студенчества, в которые и написаны были данные произведения.

А писал их, кстати, крайне нескоро. Но у меня была цель: и раз или два в неделю я уделял тому дни и даже целые ночи. Так что даже чуть и вовсе не потерял своё довольно-таки поначалу неплохое здоровье.

Замечу лишь про «сейчас». Теперь я люблю как прозу, так и лирику (имею в виду стихи). Но далось мне это с необыкновенным просто усилием и трансформациями.

Могу даже так сказать – одно отвлекает другое, особенно поначалу, когда ты не привык и не можешь отличить что должно делать, а что – нет. Тем более, зная о своей ну просто немыслимой рассеянности, мне тут особо пришлось «туго».

В любом случае – у каждого всё по-разному. И, конечно,

как сейчас, так и некоторое время ранее у нас модно было говорить: у каждого свои «таракашки».

И если уж не щадить до конца, то добавлю и ещё тот немаловажный жизни моей факт: я очень тяжело переношу всякую критику! Да, от неё болею частенько почти настоящими болезнями! И что всего страшнее, «сторонюсь» всей жизни и вообще думаю: «как жить дальше?»

Однако тешу себя мыслью: пусть, если и природа от этого ещё не придумала лекарств, это не значит, что мы сами внутри себя как-нибудь не можем с этим нет-нет да справиться. Но ведь со временем точно ведь можем! Я во всяком случае верю в это.

Всё хорошо в меру: и мы, и критика. А главное, человеческое настроение! У меня даже была в юности своя «Теория Настроений!» Правда, уж не описал пока нигде! Да и простите за излишнее тут моё и к месту не идущее хвастовство!..

Быть может, вы замечали, что когда что-то «сотворите», и попадёте вдруг, так сказать «невпопад», со своим творением в чужие (и что даже всего вероятнее, в близкие) руки, то вас действительно могут не понять. Может, вы и шедевр тут принесли, ан нет, не вовремя! И всё тут! И вы перед всеми так глупы! Да и вообще какая-то выходит кутерьма и неловкость одна. Да и сомненья накатывают целыми вулканами! Что всего хуже.

В любом случае мой совет вам и себе: выжидайте момент. Пытайтесь максимально сделать ваше «дело» хорошо и ка-

чественно. Не спешите всё и вся сразу показывать людям. Храните Тайну! Примените все силы и усилия, чтобы так уж не было явных нечёткостей, сбивчивостей и ошибок. И тогда смело идите и шагайте вперёд!

Впрочем, не забудьте и ещё одно: что всякое произведение, написанное, быть может, под тяжёлым или даже «страшным чувством», не всегда стоит вообще выводить «в свет».

Но прежде всего, и это не одно моё только мнение: попытайтесь сбересть вокруг себя некий Ореол, какое-то Чистое и, главное, Ваше Пространство, в котором бы вам, невзирая на ваши настроения, принципы, образы мыслей и многое, и многое... Вам одним бы и, главное, с собою наедине было максимально уютно, хорошо и просторно! В котором вы могли раствориться бы целиком и полностью, несясь на своих любимых воздушных и невидимых качелях, и которое бы и вас, в свою очередь, точно свежее и живительное масло, расплавляло и растворяло бы в прежде незримые и невообразимые даже вами доселе формы!

Словом, пусть у вас внутри всегда господствует свежее, светлое и никогда неутомимое Солнце! Свежий ветер! Бриз! И всегда-всегда чистое и хрустальное Небо! Каково бы вам сейчас там тяжело на сердце ни было, – сперва добейтесь, чтобы в вас ОНО БЫЛО! И тогда смело и неустанно неситесь вперёд-вперёд!.. На эти же пусть даже мечтательно-детских качелях!..

Слушайте всех и никого!

Если Вам дано – творите!

Если вы ещё не знаете, дано или нет, – творите вдвое больше человека даровитого!

Будьте голодны и неугомонны! Как говорили мудрые и ещё недавно жившие на нашей земле деятели.

А главное, любите мир, влюбляйтесь! И влюбляйте других в Вас! И многое и всем, как бы ни трудно поначалу вам было, прощайте!

Потому, если есть у вас силы, и желания ваши неутолимы, неугомонны, а главное, идут от всего сердца, прошу, умоляю, НЕ ЛЕНИТЕСЬ!!!

Берите ручку, перо, кисть, карандаш, струны, да что угодно! И ТВОРИТЕ!!! ДЕРЗАЙТЕ!!! Словом, ПОСТИГАЙТЕ МУЗЫКУ!!!

Словом, МУЖЕСТВА всем вам, о Начинающие!

И капельку ТЕРПЕНИЯ и уверенности мне, самому автору, а может, и куда более даже мужества и сил, чем вам, о мои дорогие читатели и те ТВОРЦЫ, которые лишь впервые ВОСХОДЯТ в ЭТИ столь СВЯЩЕННЫЕ ДВЕРИ!..

НОВЫХ ВАМ ОТКРЫТИЙ, ДРУЗЬЯ!

Я же остаюсь всегда вашим, искренне надеясь и только на ЛУЧШЕЕ, Евгением!

15 мая 2019

Великие Луки

Мечтатель



«...Мне помнятся и поныне былые наши встречи. Покуда есть силы, здрав рассудок и память не отяжелела сердца моего мучительной тяжестью прожитых дней, до тех пор я в ваших руках, милые читатели мои, и после, и всегда – я у ваших ног, ибо, что мне и остаётся, как не быть вашим слугою покорным, вашим верным другом во всю жизнь; при моих-то летах особенно!...»

Одна из записок угрюмого старца, доставшаяся мне по его непременному желанию, несколько поразила меня. О самом же старце и о жизни, им прожитой, не смогу в точности передать, лишь мельком замечу; отчасти и потому говорю так, что сам не обладаю достаточной способностью к речи, словоохотливостью не могу похвастаться тоже, слова имею неровные, обрывистые, да и мне как-то нехорошо будет чужую жизнь под мелкоскоп подсовывать, душу анатомировать – как сказал один прекрасный философ. Замечу ещё, что, приобретя одну из записок, которую имел честь представить вам в самом начале, я приобрёл и целый дневник. Опять предупрежу: незачем и ни к чему мне распространяться очень; лишь несколько отрывков из жизни моего героя; только кусочки, только заметки, только «чертежи». Здесь надо собраться с духом... Да только не поймите меня обратно – здесь именно мне нужно собраться с духом, не подумайте, никак ни вам; и я тоже, я тоже – ваш слуга покорный, ну совсем вот как наш давешний старичок-с! Начну те-

перь, пожалуй, засиделся.

* * *

В маленькой тёмной комнатке, где не отыскать и следа от цивилизаций и бурь, догорала на вытянутом, слегка округлом столике, одинокая свеча, совсем огарок; капли воска, обретая сероватый оттенок, тонкими нитями увивая её, сплетались растрёпанной шубой. Из мебели здесь совсем не густо было: одинокий шкаф с высунутым на половину бельём из маленькой дверцы, никак не запираемой на беленький ключик, оттого за ненадобностью и оставленный где-то в сторонке; низенькая, серая, притом с опасною пружиною кровать, желающая опуститься и вовсе до полу, если изъяснит вдруг кто-нибудь намерение на ней отлежаться да отдохнуть. Пол был обыкновенный (не знаю только, нужно ли о поле?), с присущими всякому отслужившему век свой полу шаткостью и скрипучестью. Решительно ничего не было из золотого, посеребрённого, старинного, а оттого ещё и более драгоценного и дорогого теперь, в наш век.

Почему-то всякой драгоценностью в наше время, да и в прошлые века, считалась лишь старина, – простите, что втянул вас в попутную мысль свою, да и не мысль вовсе, а так, баловство, но это мне отчего-то нужно, именно теперь, – и чем стариннее, тем шире капитал у правнуков, а то и у пройдох вовсе... Зачем? К чему? Ужели мы теперешним,

сегодняшним кладом нашим вдоволь насладиться не хотим, оглядеть его хорошенько не желаем? Вода и время гранит точат. Но под силу ли времени из песка создать цельное художество? Чья цена выше: картины ль, иль времени? Знаю, наверно, что всё это лишь ребячество, лишь игра с моей стороны, однако ж, сердце неспокойно у меня в эту минуту, разъяснения требует отовсюду.

Единственную драгоценность во всём доме составляла старинная, почти древняя серебряная ваза, инкрустированная мелким камнем, имеющим и вправду какую-то настоящую и натуральную цену; сохранена была загадочная надпись, начертанная за заслугу или за выслугу лет, что, впрочем, является одной и той же ценой у всех почтенных старцев. Я всеми силами желал прочесть её, однако, ничего не вышло из моих попыток.

Должно быть, утомил вас: и тем, что не короток в своём слове, и тем, что плетусь на одном месте, и тем даже, что сам до сих пор так и не осознал всего сюжета рассказа; однако же, следует продолжить.

У окна в своей избушке, где и крыша обветшала, и двери порастрескались, а ставни на ветру издавали долгие и протяжные стоны, сидел старик, задумчиво всматриваясь в свои запylённые стёкла.

«Не помню я, всё позабылось совершенно, особенно теперь забылось. На былую смоль волос моих упала лунных бликов белизна; широкими волнами на ветру играли былые

кудри. А каковы-то были кудри тогда! Лицо, когда-то румяное, свежее, совсем иссохло, – вот-вот, точно так же, как и двери мои, – потрескалось, перекосилось как-то всё лицо-то моё. Да и глаза не испускают прежних ярких искр, не охотятся за мыслью, не мечутся от тревоги, оставили желания, покорились времени, нашли лишь в нём покой; глаза, глаза-то совсем слабы, ах, слабы-то стали...»

Подолгу случалось герою моему сживать на маленькой зелёной скамеечке своей, нет, не от усталости и от поту – здесь иное. Его мучила странная тоска и тревога, имени которой он не знал вовсе, да и не сумел бы объяснить, описать её, обозначить верным словом. Это так, наверно, и бывает у очень старых людей. И пробовал я заглянуть глубже, и взбирался на эти высотные горы, а всё ж рассудком не взять мне никак иные вершины; мука в глубине, в самом сердце засела.

Замечу ещё, но это уже самому себе. Что я, один я, виновник неровности и томности, именно «густой» томности моего рассказа. И где же, где же, с позволения спросить (и это опять-таки для самого себя), звонкий смех, фантазёрство, озорство, наконец, романтика моего маленького романа? Неужели и далее собираюсь я вести ту же кутерьму? Нужно как-то меняться, меняться непременно, и теперь: я вам слово, вы мне – ответ, состоящий в том именно, чтобы и ваше сердце неравнодушным, небезучастным к муке моей было. Ведь я замышлял романтику и грёзу, а эдак-таки и не

выходит никак. Может, соберусь после. Непременно, непременно, и это уж решено, что соберусь! Только общий вид окончу.

«А какой же озорник я был когда-то. Да нет, я и теперь точно такой же. Ну-ну, не смотрите только со стороны на меня. Ну, кто ж я перед вами? Меня прозвали мечтателем, давно прозвали. Художественных способностей я в себе так и не открыл, нет, только гляжу часами вот в это смуглое оконце. Там – высокое солнце на самую смелую горку нашу забралось, осело будто на ней, теперь вот скользит солнышко-то наше, словно в санях катится, играет в прядки с нами будто, от нас точно прячется. А там, в златистом небе, – крылатое облако в виде большущего коня, рысака быстрого, всё скачет, скачет... Низенькая берёзка в околотке стоит: кивает головушкой кудрявою своей на ветру, – точно такими ж кудрями, как у меня были когда-то, – золотится её крона, изгибаются сочные ветви. Так и обнял бы её всю, исцеловал бы каждый листик».

Но по небу уже не гулял рысак, гуляло уж целое стадо лошадей. Ветер, нежно лобызающий нашу берёзку, настроен был самым решительным образом: он взобрался уже на высокую ель, закачал широкий дуб и принялся их колотить со страшною силою; так что же и говорить о маленькой берёзке. Издали, стремительным порывом, несла свинцовая туча клубы пыли и грязи. Золотистые лучи, на миг было прогля-

нувшие сквозь разорванное небо, исчезли совершенно. Густым серым пологом принакрылась вся земля. Редкою медью задрезжали крыша и окно, после забренчали непрерывною картечною дробью. Казалось, что все реки, выдуманные и принесённые этой огромной чёрной тучей, для того только и существовали и предназначались, чтоб смыть и подкосить как-нибудь и без того нестойкое жилище моего героя. Метнулась туча колкою молнией, раздался ударный гром, закололо заунывную болью и сердце старца...

Но не успел и сообщить я всей подробности природной непогоды, как скоро заметил, что друг мой уж уснул. То был не сон, то была грёза. Очень часто случается с людьми, преклонный возраст имеющими, когда всякая грань между сном и явью исчезает, стирается будто, всякое ощущение во сне приобретает действительный характер, а иной оттенок яви, почему-то, кажется сном.

Едва сомкнув глаза свои и успев несколько раз тяжело вздохнуть, милый старец мой погрузился в мечтания, от которых он, дожив до густой седины на всех кудрях своих, никогда не уставал. Сколько б ни пытался он, втайне браня себя и обещая перед каждым почиваньем своим, изменить пёстрые картины этих туманных сновидений, заменить их, к примеру, путным сном: о плане и постройке по этому плану нового хлева, об обветшалой крыше, подходящей лишь для обсерватории, но не пригодной в период дождей; об устройстве огорода, о посадке нового сорту яблонь и высадке груш, о

небольшом арыке или маленьком канальце, способном сбегать его от наводнившей и докучливой уж боле в последнее время тучи, всё-таки ничего путного не выходило. Да и не могло выйти иначе. И сон его, подобный спокойному колыбельному морю, бьющейся одиноко волне, томящей изнеженный берег и выглаженную гальку, был владыкою и барином над трезвым его рассудком, оттого и тянулся он далеко идущей речкою вдоль излюбленного луга и свежей пашни, и влачил за собою неволю времени. Но тут случилось совсем другое; совсем вдруг и совсем иное...

Улеглись все мысли, заснули деревья, уснула его любимая берёзка. В комнате ещё томилась свеча, отдавая последнюю искру густому мраку, совершенно залившему его маленькую комнатку. Но вдруг – уж слишком я люблю это «вдруг», простите покорнейше моё озорство, – откуда-то ни возьмись, из одной растрёпанной тучи показалась звезда. Старик живо вскочил, чтоб увидеть её, разглядеть хорошенько поближе. Потом он заметил, что звезда эта точно такая же, как увидал он давеча, выйдя третьего дня со двора: тогда была она одна-одинёхонька и сверкала на блеклом небе, он её почему-то приметил, она висела в до боли любимом им созвездии; но теперь она же и светила совсем иначе, и горела так сильно, так зримо, ярко-красным пламенем каким-то залилась вся, неестественно отбрасывая лучи свои на тёмную влажную землю, что невольно вызвала лёгкое сотрясение в сердце старца, и вновь оно забилося; впрочем, он почти что с него-

дованьем отрёкся от этой нелепицы.

«Это видение, это сон... нет, более не выдержать мне моего одиночества, – шептал, досадуя на себя, мой старик, одёрнув старенькую портьеру, – нет, теперь – тёплая кровать и сон, более ничего не нужно; я стар и скопил достаточно на спокойствие для своей старости, не нужно снов наяву, оставьте...»

Улёгшись в тёплую свою постельку, он предался сладкому сну – сну, который не тревожит и до того слабое сердце его. Он спал, но небо не дремало, оно всё на миг залилось радугою света. Из самой звезды, из самой её сердцевины слетело будто что-то, словно ангел, блистающим ореолом окружённый. Но вдруг – ах, мы ведь уж условились, что вы простите мне мою небрежность в словах, – но вдруг всё затихло.

Отступлю на миг. Мне отчего-то стало совсем грустно; грустно оттого, что я сам не могу поверить в свою галиматью, и что я всё писанное зову галиматьёй и предназначенья ей не нахожу. Это порою со мной случается. Не знаю, нужно ли такое отступление и послужит ли в будущем уроком мне, я ничего не знаю, как и герой мой тоже – ведь в эту минуту что он знает? Знает, что он во всём чудак, потому зачем ему ещё и звёзды, мечущие престранные искры, они всего ума лишают, когда вот так, эдак, сверкают, взрываются, блещут. Да кто ж ему поверит, да кто ж нам-то поверит? Сочтут за бред-с, ничего более. А ну-де и не сочтут, что тогда? Найдутся и тогда восторженные и влюблённые в восторг свой

люди и всё спасут, решительно всё! Я в них верю более, чем в свою слишком узкую душу. Я согласен говорить, говорить, но будет ли, выйдет ли из болтовни моей-то что-то путное? Вот-вот, как из снов героя моего, которому ещё подыскиваю имя. Позвольте продолжать в прежней традиции? Знаете, у меня признание для вас. Я так положил: коли стану что-нибудь писать, ну хоть что-нибудь, хоть нелепость (а это очень может даже быть, что кругом выйдет одна нелепица с моей стороны), так непременно доверюсь вам, и знаю, милые и бедные читатели мои, что не ошибусь, в вас не ошибусь, наверно знаю!

Ах да, так ведь нужно продолжить! А о чём же я? Ну да, да... там что-то о сне, о звёздах, о причуде... Надобно ли вам, али мне знать, что в действительности вышло? Что случилось в натуральной подробности-то со стариком или со звездой? Откуда ж взялась эдакая неземная сила, златые огни, изумрудное блистанье ореола? Право, не знаю. Не ведаю и тем, что слетело с Небосвода даже. Престранная загадка окутала сердце моё томной неизвестностью, вслед за этим лишила и рассудок мой здоровой рассудительности. Но всё-таки, скрепясь, продолжу.

Тихий домик окутался сенью мрака, лишь тишина стала единственной мелодией ночи. Несколько позже настенные часы, нарушив законы отдыха, выбили полночь. Наконец всё утихло и в жилище старца. Едва слышны были редкие вздохи

его и повороты с боку на бок. Сновидения, оставляя покой рассудку и окуная сердце в нежные мечтания, иногда не приносили долгожданного отдыха; напротив, во всякую ночь, под едва уловимый шорох луны, сны долее и долее теснили его грудь чем-то неизъяснимо тягостным и давно и нестерпимо мучившим. Так что поневоле принуждён он был ворочаться и кряхтеть в одиноком домишке своём.

Через мгновенье всё уж окончательно стихло. Но вдруг слышались, – то есть сперва лишь приоткрылась дверь, скользнул сквозь щели сильный ветер, скрипучим звуком отозвалась петля, – а потом уж и вовсе пронеслись чьи-то лёгкие шаги. Изящное платье с тонкими кружевами в форме пышной розы наполнило комнату вешним ароматом и свежестью. Внезапно раздался звонкий девичий хохот.

– Иван Петрович, голубчик, изволите всю жизнь проспать! – задорно объявила незнакомка. – Я Вас уж давно здесь поджидаю, да всё не решалась потревожить!

– Подождите, милая голубка, ещё одну малость, дайте-ка разглядеть-то Вас поближе... а кто же?.. как же, где же?.. это же невозможно; подите-ка поближе, вот сюда, сюда, – и старик указал ей место рядом с собою, – сядьте подле. Мне нужно Вас разглядеть... Где пенсне и то маленькое устройство для слуха? Ах, оно там, на комодке где-то и лежит... там, где удостоверение о выслуге «по летам» лежит, возле кубка с какой-то памятной надписью. Посмотрите, помогите всё отыскать, моя хорошая, покорнейше Вас прошу. Зажгите

свечу, на Вас глянуть дайте хорошенько, нужно поболее света, – продолжал распоряжаться он; однако, всё ещё волнуемый загадочной встречей, положил до времени не раскрывать своих век. Ему чудилось, что тёмные холщовые портьеры устлали его глаза совершенно, так, что не по силам было ему прорвать чёрный этот мрак. На миг решился он не искушать судьбу и ничему не верить до поры.

– Какой свет, голубчик, помилуйте, так ведь уж день настал! Вы недооцениваете себя и свои способности, мой дорогой Иван Петрович, – улыбнувшись, произнесла девушка. – Вам скоро двадцать, положим, это так, но батюшки, Вам-то ли сносно думать о пенсии, об аппарате и довольствии для вышедших из срока генералов?

– Душенька, нужно ль так терзать и до того истрёпанную душу мою? – горестно хлопнул старик. – Что ж это за вековечная традиция – сбрасывать в реку негодных и старых отцов своих, списывать их со счёту и забавляться с ними как с детьми-то малыми!..

– Ба! Да Вы решительно шутите надо мною, – уже насто-роженно и с некоторым беспокойством оглядывала она старика, – что же с Вами-то, Иван Петрович, милый, в себе ли Вы сегодня, али я вас встревожила чем-то, али я изменилась чем-то? Нет, это нужно кончать непременно и тотчас же, ваше баловство!

Вдруг, совсем неожиданно, с какою-то неестественною силою даже, приподнялся старик с постели; словно тысячи

мускулов оживились совершенно, готовые выступить в поединке и держать над всем верх, каждая клеточка пропиталась живою энергиею и вопрошала этой жизни, без конца и без краю, каждая жилка требовала сражений. Но не успел он опомниться, как уже сказал несколько смелых фраз, необдуманно и дерзко. Его укололи нестерпимо заботы молодой девицы, так что он пламенем так и вспыхнул.

– Вы ли смеете... вы ли право имеете... насмехаться так надо мною? Вам ли знать меня, иль мою душу, чтоб мною руководить, потешаться надо мною? Вам ли со мной злословить? Мной, отжившим свой век и на славу послужившем в N-ском полку, – бунтовал теперь уж тигр, – мной, смешным, оставленным всеми стариком, одиночкой, больным неизлечимою бессонницей своею и взамен ужина употребляющим горькие пилюли! Вам ли судить о порядке вещей моих, вам ли решать, что дурно и что верно для меня! Вы все злы, злы, злы...

Милая наша гостья не знала и места куда деваться ей. Она тотчас же отшатнулась, как только услышала крики, подошла к самой стене: там, в углу, какой-то шёлковою материей была отгорожена маленькая комнатка, там же нашла и она своё убежище и положила не выходить из этой темницы, покуда не кончится вся эта ужасная тирада.

Странно, но мой старец будто опомнился, будто сошла какая-то ужасная и давящая пелена с него, с его глаз и слуха, со всего сошла, и преобразилось всё в округе, всё вместе и

всё разом.

– Солнце! – вскричал он, обезумев от счастья. – Солнце взошло! Вся комната была пронизана и залита ярким светом. Я...это вовсе не я... Он кинулся было к старенькому зеркальцу своему, а взамен увидел старинной работы и отделки настоящую плеяду сверкающих зеркал, цельный ансамбль даже, оформленный серебром и золотом. Там увидел он юношу, странно разглядывающего лицо своё, свои руки, свои кудри... Да и комната престранно изменилась: там-то – резная дубовая лестница, ведущая на верхние этажи в чьи-то покои; его потолок, стёкла, портьеры – все как сквозь землю вдруг провалились... Не видать даже и берёзки, что за окном теснилась сейчас. Это действительно насторожило его до того сильно и неизъяснимо, что не мог и верить он всему вместе и так внезапно произошедшему; он походил на теоретика, перед которым явились впервые не угрюмые и не безнадёжные факты; решив удостовериться в истинном порядке вещей, он больно ущипнул себя. После он опять проделал тот же трюк опять-таки с той же силою, уже достаточною для всякого рода доказательства и удостоверения; наконец остался он покоен, хоть и сердце его билось часто очень. Странно, он это заметил: никакой боли ничуть не ощущал он в груди своей, напротив, сердце его готово было взорваться, выпрыгнуть куда-нибудь и, спрыгнув, наконец остаться живо и на воли, без его участия, хотя бы и тысячелетье, – он не почувал бы тяжести. Но сколько б ни вертелся и ни кривлялся он

у зеркала и ни ощущал в себе новых способностей и таланта, его ни на минуту не оставляло одно важное обстоятельство: ведь он оставил несчастную свою гостью совершенно одну, ведь его же окрики испугали хрупкое создание, которое так неловко и до сих пор прячется под сводами густых ширм. Почему-то, – едва раскрыв глаза свои, – почему-то он теперь вспомнил и имя своей неожиданной гостьи, и то, что она так несчастна в эту минуту, и то, что она всё так же прелестна, как и давеча.

– Голубчик Лизавета Ивановна, простите ради бога, покорнейше прошу, – начал было он, – простите, что накричал на вас, да Ваше имя позабыл случайно. Ну, выходите, не стойте так далеко от меня, мне жутко стыдно, – и он протянул ей свою руку сквозь толстую ширму, – вся надежда теперь на Вас, на благородное сердце Ваше и Вашу светлую душу.

Лиза слегка шмыгнула носом, глаза её сильно расширились, а после и вовсе залили руку Ивана тёплыми слёзками.

– Утешьтесь, Лизанька, я только лишь нечаянно, невольно. Простите ребёнка за его безмерные шалости, – продолжал он.

– Вы, Иван Петрович, несносный мальчуган и забияка: сначала кричите, после шутите. Ежели Вы всё для развлечения проделываете, так извольте продолжать в том же духе, только я... только меня не сыщете в кругу друзей Ваших, – вдруг прорвалась она.

– Лизе, что Вы, я не шутил вовсе. У меня и до сих пор колит сердце. Вот... вот, слышите, как бьётся?

– Расскажите, что с Вами, я теперь не отпущу Вас и дойду до самой точки, мне так нужно, – настаивала девушка, – а сердце-то и впрямь сильно... колотится... А как Ваше здоровье? Вы ведь в самом деле здоровы, не больны то есть? Это мне нужно, нужно, и не отворачивайтесь, потому что я друг Ваш, и обязана в самой подробности знать, должна уверена быть во всём...

– Нет, не болен. Здесь совсем иное, Лиза. Я не знаю, как и вымолвить, слов необходимых не сыщу. Расскажу, как всё я чувствовал, и почему чуть было коршуном на Вас не слетел. Снится мне, будто я старик, в самом совершенном и натуральном виде, будто сплю всё время и на всё досаую, – может быть, знакома Вам черта эта у людей пожилых, – им бы только причитать и приговаривать, тревожить и так измученное за годы сердце своё. И до того я это воспринял, до того, так сказать, вжился в эту роль, что теперь вот, сердечко-то чуть было не слетело от страха. Да, да, я чрезвычайно испугался этого переворота, этого поворота событий, что ущипнул многократно себя пред тем, как к Вам идти. Но это ещё не главное. Страннее всего то, что я как будто жизнь прожил и мудрость нажил, – не смейтесь только очень надо мною, особенно над мудрёностью. Я помню, что пролежал в своей постели столько лет, что невольно спутал дни и ночи, даже окончанье своё уж чуял. А так жить – помню, – очень-

очень хотелось, хотелось всем упиться напоследок, и думал что упьюсь, но что-то сковывало и спутывало беспрестанно ноги, и тогда я воображал себя всадником, желая одним мечтаньем исколесить весь мир, иссушить стремительные каналы его, разломать цепи, но ровнёшенько ничего из того не выходило, ибо кони мои мчались лишь по мгlistой небесной стерне, совсем позабыв обо мне. (Зачем же и теперь в рифму заговорил?) Знаешь, милая моя голубка, – ведь ты всё же позволишь мне так тебя называть, – милая моя, я оробел тогда перед всем, во всём потерял нить, скрепляющую людей с действительной жизнью; во всём я стал лишь мечтателем. Может, я клеветчу на мечтателей вообще, это очень может быть, но я и признаю именно в них самые святые, самые священные клады, цены которым сыскать невозможно, ибо лишь в них и на них основываются все искусства мира, все произведения великие и все пресомнительнейшие; в мечтателях – всё, но их обделила природа силою, вернее, очень часто недодавала её. О, здесь нужно многое для их спасения, самое важное – мужество, непременно оно; ещё – упорство и непрерывность, – это тоже не мои слова, но они вправду нужны всем дитятам солнечного света и утончённых чувств, – прости, прости, что в сторону склонил; но пускай, теперь – всё, теперь именно всё хочу я рассказать тебе. Не притомил тебя, Лизонька?

– Совсем нет, только Вы говорите, говорите, не отрывайтесь; знаете, Вы уж очень обрывисты, сперва начали про ста-

рика, а закончили бог ведь знает какой штукою: о мировом искусстве и о доле этого же самого художника.

– Но тут одно из другого и вытекает самым прямым и верным образом!

– А Вам, Ваня, может, и теперь всё снится? Может, и я – сон Ваш? – заметила смелая лукавка.

– Что Вы, что Вы! Зачем меня Вы так мучите, это вынести никак не можно... нет, нет, Вы помните пороховую бочку? Вот ту, от которой Вы отшатнулись давеча, – она грозит и вовсе взорваться!

– Я пошутила, не вините и меня сильно. Ну как вы, однако, смотрите на меня, в эту минуту и такой взгляд!.. Не смотрите так, а то я маменьку позову! Ах, нет, давайте не ссориться, давайте после долгой и счастливой встречи нашей не затевать ссоры!

– Я очень, очень рад буду.

– Тогда и теперь не смотрите прямо мне в глаза, уж очень сильно Вы... Вы, однако, дырку на мне прожжёте... Милый Иван Петрович, я Вас... я Вас слушаю чрезвычайно внимательно. Так что же там-таки случилось со старцем Вашим, рапортуйте!.. – игриво продолжала Lise.

– Он остался жив. Меня более всего поразило то, что мученья как бы гасятся сном, как бы окрас иной приобретают, когда человек доходит до «своих» лет; и что, напротив, в сердце остаётся место для улыбки. Это был добрый старик. Знаете, Lise, как говорят теперь, да и прежде говаривали, –

вернее, про себя думали: если человек силён, то к чему ж ему доброта; а коли слаб, и к тому ж беспомощен в своём таланте, то ему ничего не остаётся, как быть лишь добрым. Я оттого и подчеркнул это «лишь», потому как все считают доброту в человеке «последним» качеством. Именно в людях нераскрывшихся, а пуще и вовсе в доходягах. Ведь здесь есть то, чем можно их всех оправдать и себя не мучить. Он, дескать, ни к чему не пригоден, ни к чему не способен, а добр, так пускай же живёт себе с богом, а мы стороною, стороною... Я, может, не очень ясно выразился, но не могу выразить иначе всё то, что сильно нутром чую.

– Ваня, так это и есть. Но только тот пример, что мы с Вами указали – это самая «последняя» доброта! Но есть и иная. Я слыхала тоже, от одного поэта слыхала: «Чтобы быть умным – достаточно быть ироничным, а чтобы быть мудрым – нужно быть добрым!» Разная есть доброта. У нас есть сосед, он с нами живёт рядом, в соседнем домике, так он такой смешной человек, как есть смешной, такой неловкий: и в движеньях, и в походке, как ребёнок. Улыбнёшься, бывало, на него глядя, а он, завидя тебя издали, хоть и приметит насмешку твою, но в ответ такими добрыми, такими ласковыми глазами посмотрит, что дрожь по всему телу невольно так и проскочит. И ведь знаешь, что он не обидится и не будет держать зла на тебя, тебе же и улыбнётся первый, а всё ж и совестно совсем станет, не по себе как-то.

– Это удивительно, что так и у Вас, что и Вы это чувству-

ете, – заметил Иван.

– Может быть, у нас родственная и единая душа? Как славно, что мы вместе! Ваня, не пугайте меня больше своими выходками и давайте не будем о старости, – упрашивала Лизавета Ивановна, – давайте начнём о прекрасном, Вы ведь любите прекрасное? Не отвечайте. Молчите. Хотите на прогулку? Вы не забыли наш пышный яблоневый сад? А там и птицы, и червячки, и жучки. Вы удивляетесь тому, что я люблю жучков? О, не беспокойтесь, в рацион мой они не вхожи.

– О, как дивлюсь на Вас, какой же Вы хороший и предобрый ребёнок, Лиза! – улыбнулся Иван Петрович.

– В хорошем смысле «добрый»? – выпытывала девушка.

– В самом высшем! Вы – милый ангел! И как я мог удостоиться чести быть и даже говорить с Вами, право, не знаю...

– Ну, зачем, зачем же Вы снова, вновь принялись за свою кутерьму, и унижать предо мной себя принялись. У меня на душе в эту минуту простор. Знаете, я просто пушинка, и мне теперь этой пушинкой хочется парить, кружить: так вот бы и до солнышка долетела б, до самого высшего облачка, прикоснулась до пушистой птичьей головки, обняла бы её, приголубила, да с нею вместе странствие начала своё по свету, новую жизнь в себе бы открыла!.. Всюду б летать мне, везде бы побывать!.. Так бы и парила, парила!..

Я столь увлёкся, что невольно позабыл и о вас. Публика требует окончанья и жаждет сюжета, тогда как сам я, дожив

до частой седины на висках своих и останавливаясь на этой странице, не могу подыскать порядочного окончания к своему «роману». Мне стыдно, стыдно. Но нужно продолжить. Если я замечу так, мимоходом, что рассказ мой не имеет поч-вы, не складен с виду и не несёт никакой смысловой нагрузки, – как любят выражаться наши милые литераторы, – то к чему ж и продолжать мне, коли так? Смеешь ли ты писать, когда сам знаешь, что не имеешь литературного билета на право входа в мир сладких иллюзий? Сам, дескать, взялся за дело и сам, дескать, отворачиваешься? Коли взялся, то держись крепко, – подбодрят в то же время иные мою несме-лую душу. Ведь сам же твердил, что нужно мужество и упор-ство, – так иди! Как бы ни вышел сам ты смешно и нелепо. Знать бы только наверно и в точности, «что не пропадёт твой труд напрасный», как бы ни был бы он напрасен. Да, нужно продолжать. Но вам хочу пожелать набраться терпенья. Ещё немного. А ежели и теперь это вступление не к месту и ни к чему не годно, то опять-таки это для моего урока. И ещё одна мысль попутная: не нужно никогда бояться школьни-чества, а пуще и самому профессору не стоит опасаться. Са-мые высшие умы – часто дети, – и опять не моя мысль. Про-должу. Нужно окончанье.

Моя отлучка на некоторое время разлучила меня с мои-ми героями. Они успели отужинать уже в знатном доме ро-дителей Ивана Петровича, куда приглашены были знатные гости. В честь ли праздника, в честь ли удачного буднего дня

сооружались там поистине пиры. Денег не жалели на столы, в свою очередь, и столы ломились от кушанья. Если дом не был замком, то, по крайней мере, походил на просторный терем. Как водится, были и крестьяне, даже довольно – две тысячи душ. Многочисленная челядь этого семейства, прислуга и ливрейные лакеи заполняли почти всё пространство. Не буду распространяться о родителях Ивана слишком. Замечу лишь, что они были из самых знатных и почтеннейших людей города N того времени, – как, впрочем, и полагает быть всем родителям той удивительной поры. Отец-полковник в отставке, теперь же уверяющий сына в необходимости и полезности службы. Мать же, – как водится теперь во всех светских домах, – была музыкантшей и пианисткой, знавала множество романов, обладая натурой романтической и к тому же чудаческой, созывала друзей и устраивала вечера в честь литературы и музыки. Своего мужа обожала, хотя он, завидя собравшуюся публику, тотчас же и немедля повелевал запрягать любимого своего рысака.

Яблоновой сад весенним ароматом дурманил сердца молодых людей. Скоро стемнело: выскочила луна-затейница, серебром окуталась свежая трава, цветы на деревьях походили на мелких белых бабочек. Возле сада раскинулся пруд, лунную дорогу держал по нему одинокий лебедь. Казалось, в эту минуту всё могло воплотиться, даже и та мечта, что *у обоих на устах была*, застыла. Это был один из тех вечеров, что рождает грёзу; этой забаве не подвластно время,

ибо запечатлелось оно в сердцах навеки. Рождая тайны, вечер явил и танец. В нём кружились два юных существа и два сердца, бьющихся от надежды и замирающих от новых чувств. Оставшись наедине, они оставили душам своим простор. Иван позабыл и вовсе о ненастном сне, о злом факте и неугомонной памяти, что в протяжении всего дня напоминала его сердцу колкие ночные обстоятельства. Позабыл, глядя на Lise, и себя вовсе. Лёгкий шелест платья и гибкость стана лишали его рассудка и томной памяти. Издали, из дому, доносилась лёгкая музыка. Они принялись танцевать и нашли подходящую тему, служившую всякому верно и покорно в подобных случаях. Казалось, этому блаженному пиру не будет и конца.

Где-то у горизонта заволакивало небо. Лёгкие перья облаков без удержу бродили возле луны, касаясь едва-едва её бархатистой грани. Сребристая дорожка потускнела, слетела с пруда и согнала лебедя. Задрожали рощи. Плотным пологом над ними повисла чёрная, ядовитая туча. Иван вздрогнул, – что-то почувствовал он в эту минуту, – отшатнулся, сильно задрожал и вдруг бросился навзничь пред Лизою, к самым её ногам. Также вдруг слетело с его уст и признание. Были слёзы, была и драма. Не то рыдания, не то ручьи из всех туч залили их счастливые лица. Lise прильнула к его груди, – она уже дала согласие, – обвила его шею таинственной ланью, коснулась густыми своими локонами его щеки и, вслед за нежным поцелуем, тотчас же и с тою же силой и

неотвратимостью раздался оглушительный удар грома...

Наступило утро. Туманы лёгким тоном серого цвета укрыли поля и тихие рощи. Одинокий голос петуха разбудил солнце, и они, послушные и голосу, и свету, растаяли, оставив полю и цветам грёзы, вспыхнувшие под их ночным одеянием.

У окна отчего-то сидел всё тот же старец. Видно, ранёхонько он встал, и лицо его, казалось, вобрало в себя задумчивость и заботу всего мира. Маленькая комнатка, вмещающая лишь тишину и редкие скрипы петель, услышала и протяжные вздохи старика.

«Сон, это только сон. Так вот, мои друзья, каков я! Каков я был и какой-то вышел! Ничуть не превзошёл. Мне всё чудилось, мне всё представлялось вновь возможным. Я новой жизни хотел и не ожидал, что в эту минуту проснусь. Зачем, зачем всё это лишь мираж? Может, и теперь, уж в какой-то раз, я сплю?» – и он вновь ущипнул себя с силою, совершенно спутавшись со временем.

«Может, вовсе и нет грани меж сном и явью? Может, всё лишь одна сказка и затея высшего существа? Доля старости состоит в годах. Доля молодости – в страсти. Силы распределяет на век нам кто-то. Но не существует силы, подобной фантазии, силы столь стремительной и живой. И если не способен я воротить былое, не выйдет из меня и юноши-то младого, мне всё же вручено что-то более, некое право – быть художником и всегдашним дитятей тонких чувств и кружев

света», – выглянув из окна, ведущего к внешнему саду, увидел он вновь то же деревце, ту же белёсую маленькую берёзку, укрытую теперь куполом алой зори, и дух его слегка развеселился.

Великие Луки
2006

Пыльные записки

повесть о трёх частях

«Там, где кончаются романы, – начинается дождливая проза, там, где кипит жизнь, – сгорают сердца, но там, где они встречаются, – находится место и докучливым романам...»



Часть первая

Письмами о двоих

Глава I

Я решился писать вам теперь и сейчас же, потому что чувствую, что эту минуту не в силах перенести мне одному более. На сердце моём она осела тревожным вопросом и не утихающей раною. В том и мука состоит моя, что неизвестную природу имеет, да и разрешить её никак и не утолить ничем. Вам одной дано право на правду мою, вам единой доверяю и эликсир для моего спасения! О вопросах же моих, мучивших меня столь долгие эти сроки, полагаю изъясниться позже. Мне так нужно, ведь мой слог так обрывист, так не складен и так неловок в это время... во время самых сильных душевных откровений, самых искренних порывов... приходится обдѣлывать предложения и подбирать слова, как дворнику безнадежно велено управляться с опавшею теперь повсюду пожелтелою листвою...

О, более того, я не знал с чего начать, не знал как возможно письмо моё, но, однако ж, сильно верил в возможность его и в силу его, – как верят иногда маленькие дети в неизменную крикливую правоту своей неразборчивой речи. О, я поверю во всякую правоту, если только слетит она из уст ва-

ших! Я доверюсь ей всецело и подчинюсь ей совсем! Будьте в том покойны. Будьте уверены и в неизменности слов моих, кои в совершенной гармонии с чувством пребывают! (Продолжу уже завтрашним письмом).

P.S. У меня совсем почти нет сна, хотя на лице моём написана усталость...

* * *

Но поглядите теперь на меня! Ведь странно же и удивительно моё перевоплощение, – у меня вновь восторженная речь! Ведь должна была тоска, тревога явится в эту минуту, а случилось, что и след её простыл, и исчезла она вдруг куда-то, и показалось мне, к тому же, что мы вдвоём совсем родня! Как есть родня! Так иногда бывает в письмах; сидя порою и подолгу над некоторыми записями и записками, ни на чём не мог остановиться я в иное время: принимался бранить себя, марал бумагу, лил чернила понапрасну: выходила всё какая-то нелепица; но только я сменил своё поприще вашим письмом, только принялся говорить с вами обо всём, как сейчас же и заметил, что что-то слетело с моего сердца незаметно, что-то тяжёлое, лишнее и мучившее меня во все эти дни! Я теперь совершенно оправился, моя милая, хотя и теперешние слова произношу с некоторой болью и туманом в голове. Но теперь явились вы, а с вами – добрая примета и сладкий сон...

Признаться вам, я совсем неловкий и неуклюжий человек, и потому, может, и право не имею на беседу с вами: стерпит ли письмо, лягут ли чернила, не съёжится ль бумага от моего присутствия? Нет-нет, если и вести письма и записки, то непременно человеку ответственному и обязательно, дельному и складному, решившему, наконец, истребить канцелярию в надежде преуспеть в бумажных расчётах!

Нет, не то, не то... всё спуталось теперь в уме моём... Мне, всё-таки, следовало начать с печали... ведь она столь нелегка уже, что не уносима даже ветром...

ваш А. А.

Глава II

Милый Андрей Аркадьевич, отвечаю вам на письма, что гроздьями от вас сыплются. Благодарю вас за это! Но вы очень обрывисты. Вы можете быть чрезвычайно грустны и, с другой уже стороны, совсем радостны и совсем в ту же минуту, что поражает воображение моё очень. Но ведь я успокою вас, если скажу сейчас же, что вы – действительный и совершенный ребёнок! Ведь на это нельзя же обидеться сильно, правда? Вот даже в теперешнем случае: вы присылаете письма, чтобы я разрешила «тайный вопрос» и «тайную муку» вашу, а сами и забыли ведь её указать вовсе. О, я не требую от вас совсем «канцелярской» чёткости и «твёрдости крепких фраз»! Вы тут ошиблись. Но, ошибаясь, всё-таки, знали

наверно, что я желаю от вас лишь ваших слов и вашего же сердца! Ну вот, видите, здесь вы не ошиблись. Я их принимаю и их зову. И потому вам велю (потому что вы сами указали однажды мне право руководить вами, как сестра, может быть, самая что ни на есть близкая, руководит; вот я уже и принялась, потому и не сердчайте очень) писать вашим же слогом.

Маменька тоже весь день на меня серчала. Авдотья, служанка наша, несла обед, где оказался и этот кофий, а я, глупая, и скажи ей под руку, что позволяю ей сегодня идти на гулянье и что, к тому же, ей в придачу собственный плащ одолжу (ведь дождь у нас какой уж день по окнам косит), так та и вовсе обомлела и позабыла всё: и об обязанности и об обеде, и так всплеснула руками, что обронила поднос, и кофей на маменьку пролила. Авдотье, конечно, досталось бы больше (хотя её и обвинили тотчас же и грозились продажей). Всё так и было бы, если б не обняла она меня тогда же так сильно, так крепко, как самые близкие только люди могут и умеют обнимать... тогда и призналась я матери во всём: в своём содействии и в своём участии и всю вину на себя взяла!

Помните, я вас, милый Аркадий Андреевич, обозвала маленьким ребёнком, но поглядите на меня теперь: я ещё меньше вашего! После этого случая вбежала и заперлась я в своей комнатке и помолилась перед иконой. Маленькие слёзки почему-то катились так часто-часто, что и вовсе ручейком

залились потом, и след на подушке свой влажный оставили. Ах, Андрей Аркадьевич, понятны ли они вам, слёзы-то, ясны ли? Я слыхала, что от слёз девичьих никак не нужно требовать полноты и ясности! Потому и свои не стану описывать. Знаете, голубчик, мне так хорошо потом стало, так радостно, что выбежала я из дому прямо к деревьям и прямо к ручью, громкие песни им напевала, услыхало меня всё поле, отозвалось солнце, так что после ринулась я обратно и обняла маменьку (а та всё со своей стороны мне простила и не думала держать обиды!) и расцеловала вновь Авдотью! Вот каковы слёзы-то, вот какое есть у них ещё свойство, голубчик Аркадий! А Авдотью-то и не думали наказывать и велели даже, что б я её отпустила, и вечером созвали гостей, где много говорили (о самом чудесном), много пели, а после принялись танцевать.

Вы, не принимайтесь за грусть, друг мой, лучше – оставьте её вовсе! Я хоть и маленькая восторженная девочка, а всё-таки, могу «разрешить» ваше уныние и вашу тоску, могу сыскать другое им определенье, совсем иное, не то, которым судят, а то, которым лечат... Доверьтесь мне и лучше – приходите чаще к нам на чай! И маменька тоже вас зовёт.

А о том, что у нас вы так неловко вели себя, пресмешно споткнулись и упали, когда у нас в прошлый раз гостили, прекратите и думать... Мы все невольно улыбаемся тому, вспоминая; хотя, втайне, все и стыдимся своих улыбок, и вас ждём с нетерпением!

Р.С. Ах, я совсем и позабыла откликнуться на ваш знак дружбы. Вы сказали, что мы с вами «как есть родня» – это великолепно! Это я принимаю и никогда не осужу! Более того, – я вам протягиваю руку! Пишите обо всём и как всё понимаете! (доверьтесь мне во всём и продолжайте посылать свои «гроздьа»!) И только непременно, непременно будьте у нас!

ваша Варвара Александровна.

Глава III

Что за прелесть вы: вы далеко, но очень близко! Говорят, в письмах исчезает «натуральность» и чем далее, тем крепче мненье. А мне же чудится иначе. Мой друг, гвардии поручик, где вместе служили мы в первую нашу молодость (чувствительной души человек), однажды заметил мне, что близкие люди связаны не только чувствами, лицом и устами, но что в них, к тому же, живёт и одно престранное существо – *атмосфера*; и только в них одних! Раз, поселившись в их сердцах, проникая до основания и глубины, утопает она уже всецело в них и в тайниках пребывает душевных, оставляя безраздельно любящим трепет, близость и сладкую гармонию...

Простите, однако, что на пушкинский лад перевёл, и уж было вовлёкся в эту незатейливость и гибкость слова. Но вы... ведь вы, кажется, любите романы и старину и позволите мне шутить со словом? Ах, для меня это важно, заслу-

шайте (тут я отчасти повторяюсь): мне стыдно тратить чернила (они окончанье скорое имеют), неловко тратить бумаги (канцелярист её применит куды важнее и дело ей подберёт надёжней), мне трудно отыскать верное слово (ведь найдутся и тогда на них знатоки и семинаристы)... а всё же, не могу глядеть спокойно на эти чернила, что слишком скоро высыхают... Они сохнут, уверяю вас, точно так же, как и желания мои, всякий раз, когда отворачиваюсь я от них и от перьев...

Ах, было начал восторгом, а вот куда и свернул! Варвара Александровна, до меня ли, до романов ли теперь нам об-им? Но всё-таки, не оставим их! как и не оставим этот жар, это пламя, что пылает в нас всегда, лишь только друг на друга мы обернёмся! Лишь только посмотрим в сторону своему ближнему! Ах, всего-то взглянуть стоит, – а сколько-то в этом муки для многих, – прикрыть глаза свои на миг, о себе позабыть немного, услышать стук и глас сердечный, тогда и оживим тотчас и вновь мы всё, что уготовлено для нас, быть может, самим богом...

Вы позабыли прежде спросить у меня о службе, тогда как знаю я наверно, что и это беспокоит ваше на всё ответное сердце. Право не знаю, может, описывая её, службу-то, обойдусь и без некоторой предыстории, – которую обыкновенно включают в рассказ о своём нелепом прошлом, чтобы оправдать себя хотя бы этим поприщем. Быть может, в ходе и всё так объяснится, и не придётся касаться всего. Но, я так не уверен в том, что вам расскажу и как выскажу то, что прежде

от вас скрывал до времени... Я буду правдив и искренен, стану говорить обо всём, так лучше, и так вы мне велели прежде. Знаю, что этим одним только и буду прощён...

* * *

Служил я тогда в одной губернии, вместе с тем другом, о котором и упомянул выше. Но друг мой, которого любил я горячо и сердечно, скоро вышел в отставку, так что очутился я совсем один. Служил прилежно, смиренно, как только могут служить весьма честные люди. Но явилась черта во мне, кажется, нелепая, но, однако, мною руководящая во весь период службы и всегда мной распоряжающаяся. Черта в том именно состоящая, что всем и всему я должен и обязан по некому внутреннему закону и совсем бескорыстно. И выходит, что я ей, этой чертой, то есть, как уздцами сцеплен. Такая черта. И не мог иначе, особенно в те годы не мог.

Вначале на меня удивлялись и дивились. Даже высшее командование однажды желало учредить какую-то премию в мою славу. Смешно конечно. Где бы они не были, я везде крутился подле. То, бывало, пальто, мундир подаю, одеваю, то слишком громко выкрикиваю приветствие и ношусь за всеми и каждым по пятам, не требуя взаймы и не держа потаённой цели. Выходил на службу я и во всякую погоду и в пургу, по первому же сказу. Что дадут мне в руки – всякое дело исполню и всё-то с прилежанием. И всё про себя-то на-

думываю, что великую благость совершаю и тем оно хорошо, что и корысти тут нет никакой. Начальство и все в округе долго не понимали того, выпрашивая о родстве моём (а рода-то я дворянского), о способностях и о грамотности то же один раз выспросили. Наконец, меня начали почитать всё равно, что за прислугу и за лакея какого. Но на то я не очень откликнулся, хоть и всяк надо мной смеялся.

По этому случаю, убежал я в свои одинокие комнаты, где жил со мною ещё и мой денщик, человек смирный, уже много отслуживший и почтительный. Оставался подолгу один, иль заслушивался его долгими речами о крестьянском быте. Да и сам он происходил из людей простых и неграмотных, но слова его как-то особенно звучали, лились как будто. Тому и объяснение я нашёл после.

Это был одинокий странник, много путей исходивший и многое повидавший на свету своём: и людей и судеб. Он всё говорил, говорил, но самого главного ещё не коснулся... а время шло и бежало, но определенье моему поведению так и не последовало, а в след явилась лишь тоска. Тоска до того проникла в душу мою, до того готова была порушить каждый порыв и всякое движение её, зародившееся именно тогда почему-то, что готов упасть я был наземь ничком и заплакать всеми слёзами, скопившимися во мне за весь этот долгий срок. Иногда и потоком.

А денщик Фёдор, странно, всё понял и рассудил сердцем. И я поверил его глазам и белёсой голове его. И хоть его слова

– не рецепт доктора, но зато пилюля лекаря. Он растолковал мне все мои поступки, – в которых заранее я признался, – не осуждая и не давая им отпор. Он замечал, впрочем, на свой лад и своим языком, но без малейшей даже доли злословия и умысла, без искусства громких слов: то-то и утешило, тем-то и прельщён я был. Вы не смотрите, что многое из его рассказов – глупость и нелепица. Знаете, я где-то слышал, (опять же из романов) что ум – подлец, а глупости родня – правота и честность. Так и здесь. Не так много слов я знаю «крестьянских», но что запомнил тогда, то с теплом сердечным вам и перескажу.

Он заметил мне сразу: «Подивился я впервых на тебе, больно уж любопытен был в ту пору-то мне. Смотрю: бежит он отовсюду, ни с кем-то не судачит и по ихним балам не ходит. А прибегает всё и запирается совсем в глухой коморке, в темнице тёмной, от всех сховавши. Аркадий, ти помнишь, как потом ужо, когда не выдержал ужо совсем, прибежал ты ко мне и на колена бросался со слёзками-то? Долго слёз твоих понять не дано мне было. Но, чувствую, что здесь не умом судить нужно, а нутром! Вот и положил тебе сейчас же растолковать твоё буднишное, как сам на то понятие составил внутреннее.

Знаешь, вот что скажу. Видишь луну, видел её заход, наблюдал её начало; помнишь и то, когда в центре она пребывает, в совершенной своей выси и когда со звёздами глаголет. Возьмём мы с тобою пример новой луны, свежего меся-

ца. Знамо ли то тебе, что ты – и есть та самая луна. Как есть, это – правда! Как завидишь вновь её, глянь-то хорошенько на неё, что заметишь-то? Что как всякое растеньице и всякое дитяти растёт она, жизнь и силу всё более вбирает в себя, далеко и всем светит. И это веками даже! Найдётся путник, ему – своя дорога, найдётся любящий – и ему своя песнь. Луне покой и сон надобен, её ночь лучом наделила. Коли б ночи и тиши не стало, не быть бы и месяцу на пологе небесном...

Оно всегда-то вначале трудно очень. Но гляди луною, взглядом простирайся сквозь сумрак темени, и тогда и светом ейным приобщишься и сольёшься сплошь в текущий, звенящий ручей. Тебе нужны сроки. Ты чувства такие носишь в груди своей, что всем и вся сразу желается глупости шутошные о тебе истолковывать и бросать в лицо твоё твой же тебе позор. Ты этому не внимай. Доверься долгу, люби луну и светом ейным не пренебрегай! А всё чаще выходи под вечер и всё там наблюдай. Вот мой совет и сказ! Покуда не приобщишься к жизни, покуда сомненья будут ум твой неистово гложить, дотуда и вбирай весь свет прилунный, без устали и без мысли его впитывая, и тешь себе своё нежное сердце. Им-то не всякое-то существо наделено, а если ему и положено быть у истоков человеческих, в ребёнке каком, то после уж от него часто сворачивают в сторону иную, а па-че, что и вовсе слова-то ему отводят нелестные, памяти не держат о нём долгой. Храни в себе ребёнка! Но знай, что не

найдётся и цены тебе, коли этому малому дитяти ты присвоишь и формы мужественные... Упорство, непрерывность и воля – вот твой оплот и вот твоя крепость! Попомни сиё и сиё храни!»

* * *

Теперь уж поздно. Полночь стукнули настенные часы. Мой стол полон бумаг, но нет, и не было б ему цены, если б не лежало никогда на нём вашего письма. Милая Варвара Александровна, что бы делать мне тогда, не имея надежды видеть вас вновь. Вот и о письмах: вы говорите, что любите мои слова и всё в них благословляете и приписываете мне лишь их происхождение; скажу вам напротив, что всему научен был от вас одной и от ваших же живых красок, коснувшихся тонких и ярких картин быта...

P.S. хоть и писал я вам многое, но, однако ж, не высказал и половины, в этом и повинен; но, одним начиная, надеюсь, что и в другом наверно преуспею.

Вам одной покорный, ваш Андрей Аркадьевич.

Глава IV

Ах, милый Аркадий (ведь вы простите, если назову вас так просто), я многим осталась поражена. Я как читала вначале, то вмиг угадала, что конец окажется исповедью. И как

прочла, то, – поверите ль маленькой дурочке, – тотчас и всплакнула. И это от сердца, от сердца! И, опять-таки, от романов! Ах, давайте шутить над ними и плакать, их перелистывая вместе! Я так положила. Раз уж даны нам слёзы, то и у них своё намеренье – охватить губы наши после щедрою улыбкою.

Представьте, у нас выпал первый снег, и всё новое с ним как будто оживилось: нежный полог неба как бы спустился наземь, ложась тёплым покрывалом над недавно слетевшей листвой, кружева искусно выткались на стёклах спален, вслед высыпала детвора и принялась за свои забавы, лица стариков, склоняясь над ними, обрели лучезарный свет, а юности эта ночь сообщила прозрачность и сиянье белоснежности.

И какой, какой же славный ваш старичок! Только он моими словами вдруг заговорил! Я сама первая так ответить должна была, сама первая всё это выдумать... но ведь я ещё сумею... смогу... мне ещё отведено время... чтобы воскресить вас?.. помните? – дайте свою руку, – я ваша добрая сестра... Я ведь точно также всё воспринимаю и чувствую... только... только, кажется, словами такими в достатке не располагаю. Знаете, я раньше думала о многом, но теперь лишь главное поняла: не бывает необразованных сердец даже в совсем простых людях! – вот моё слово. Даже напротив, чем сильней обучен и приготовлен человек – тем более он и к рассудку ведом! Всё-всё им истолковать желает, и ему

на казнь всё повергает, всякую даже не свойственную уму мысль... а я за чувство, за чувство стою! Но вот незадача: меня всегда-то и будут считать за маленькую-премаленькую девочку, если во всём и всё захочу только чувством мерить. А я хочу более, чем хотела прежде. А после – не хочу от всего отрекаться, всем пренебрегать, не желаю идти по той проторенной, счищенной дорожке, когда никому и не до чего уж нету дела! Когда черствеет, холодеет душа, когда реже заливается чувство звуком, и когда летам не сообщается более мудрость, а истории сердец остаётся шептать лишь с веком ушедшим... Тут и моё откровенье...

Но простите, приняла вашу форму и также увлеклась словом, как и вашими нескорыми письмами. А вы уже их слишком задержали: я, было, начала вступать в беспокойство, и, если б не увлеклась в ту пору совершенно странным и неожиданно происшедшим со мною делом, то и окончательно бы закончила паникой и потерей рассудка. Ах, мой голубчик, не принимайте слишком к сердцу, я так объявила вам, потому что не в силах была хранить свою тайну, своё чувство, – а оно так всегда опасно и тонко, что неожиданные формы принимает и не знает наверно, чем и кончит после. Вот и со мной также: как только коснётся меня какое-нибудь, хоть даже самое малое известие, я тотчас принимаюсь его «расширять» и душу нередко ввожу в болезненный кризис. Так и трепещу от всего, что даже так незначительно и так мало. Так случается со всякою даже хрупкостью... и с моей тоже

случилось, – хоть и стыдно, должно быть, в этом так скоро сознаваться, – но, видите, – мне так мучительно всё скрывать и держать слова «за пазухой»; не подумайте на меня, сразу глядя, что лишь от малодушия «точу язык», – как изволит изъясняться моя милая няня, – поверьте, на то есть причины слишком внутренние и слишком глубокие, которых до сроку и я не желала бы касаться...

Теперь же мне нужно было объяснить с вами по тому делу и случаю, – о котором объявила я вам вначале, – что произошло в эти дни, и что оставило на сердце моём долгий и памятный след. Не знаю только, боюсь за содержание, боюсь, что выскажу и расскажу не так вовсе, как было, не так, как о том другие рассудили, а как могло лишь мне одной представиться. Но и пусть так оно и будет, – в одном тогда не ошибусь я – в душе своей, что не приобщила ещё к «сухости», и именно ей вверяю весь рассказ и всё его течение; ведь сердце не может же заключить строгостью и судом? А если и прилетят они случайно и приобщусь я невольно к ним, то, всё-таки, останется по-моему: осужу себя тотчас же первая и не дам ходу дурному чувству... Слушайте, вот моё маленькое происшествие, вот моя роковая история...

Часть вторая

Одним письмом о множестве

Глава I

Это было начало ноября, какое только может быть у него начало: мокрый, ревущий, пронизывающий ветер, сваленные ветви, устланная серым, изношенным ковром земля, сплошь состоящая из медных, пожухлых листьев, да низкие звуки леса и колючие крики галок, – всё напоминало старое, забытое полотно.

Простите, голубчик Аркадий, что на серую тему свела (ведь вы думали, что я – сплошь восторженный, милый дитя, который и знает только себе, чтоб говорить на чувственных тонах?.. но, поверьте, у меня есть и другие стороны, – хоть и стыжусь об них заявить). Это так, тут для контрасту, для красок нужно.

Гостил в то время у нас один купчик приезжий. Но казалось, – даже с первого виду, – что он не пробудет у нас слишком долгого времени. Росту он был значительного, стану крепкого и положения видного. Ещё он не был человеком в летах, но видом был старше и уже бросал на всё и на всех равнодушные взоры, как будто вымеряя что-то и назначая чему-то цену. С ним вместе была одна маленькая девочка,

одетая не по-купечески и не по примеру своего спутника. Я не знала решительно ничего из их жизни, но что-то меня завлекло так сильно и так неотвязно, что решила я, наконец, во всём убедиться сама и подглядеть с близкого расстояния, – если так можно только сказать, – на всю эту загадочную картину.

Девочка шла вместе с заезжим гостем рука об руку, но как будто чем-то связанная, невидимой какой-то нитью. Ей не было и тринадцати лет (я так определила, потому что немного умею читать лица, а в особенности всё детские), волосы её были как-то потрёпаны и колыхались усиленным ветром, глаза, как небо, голубые и в них спряталась, казалось, вся глубина и тайна его; лицо её могло быть привлекательно и нежно в иную минуту, а иногда выступала и улыбка на его бледных очертаниях, но в след всегда являлась пасмурная грустинка и как бы уединённая задумчивость, так ещё не свойственная такому юному, чистому ребёнку!

Впоследствии всё узналось и разъяснилось совершенно: и мои наблюдения и моя беспредметная грусть. Я поневоле напрягала своё любопытство, оно приняло даже неслыханные прежде формы, ум отказывался подчиняться мне: я вовлеклась в поиски и расследование, так что каждый жест мой и все чувства мои могли подсказать другим о моей рассеянности, сбивчивости и о том, что я не принадлежу сама себе уже более, – представьте, Аркадий Андреевич, всё во мне воспалилось, так что мне уже был назначен режим отдыха и

спален!

Но я заглядывала, всё же, в окна своей обители: там бродили ветры, и промокшая листва равнялась с землёю. Между тем, тайная тоска и боязнь чего-то и за что-то, всё сильнее и неотвязнее мучили меня и с каждым днём отзывались на сердце с новой силой... Такова моя тонкая натура (замечаю это с улыбкой), но не пренебрегайте хрупкостью и слёзами, – помните, они иногда много плода и истины с собой приносят!.. Я всё хотела тем временем выведать: и где остановился купец и где держит он свою сожительницу и как её имя...

Они проживали, по счастью, недалеко. Я могла видеть как каждое утро, в самую рань, – в том часу, когда кипела обыкновенная жизнь и в дремоту была погружена ещё жизнь помещицы, – выводили эту девочку. Её забирали обыкновенно тётки и няньки по чьему-то поручению и наставлению. Ещё заметила я, что те обыкновенные платья, что по будням, в дневные часы, носила она, как бы изменялись к утру в цвете: они стали все пышные, кисейные, из сукна ценного, в кружевах; а небрежность причёски и недавние вихры её теперь были уложены в особом вкусе и с соответствием моде.

Есть у нас один помещик Слостолюбов, проживает напротив моего дому, – и почему так вдруг сошлось, что всё то, что совершилось, текло и случилось именно рядом? Трудно даже предположить. Но я знала в тайне (и не напрасно), что меня вела тропинкою чья-то сильная рука, искавшая будто и себе опору. И потому я не умолкала. Мне всё хотелось сде-

лать, всё желалось совершить: но каким путём и как? Тем более, что я была заперта в стенах своей неволи. Я посылала Авдотью (а мы к тому времени были самые, что ни на есть подруги) к соседям, применила все силы на её обучение (а её жутко нужно было обучать всяким делам), состоявшее в том только, чтобы она усвоила уроки разведки, хитростей и уловок. Ей я поручила бегать по соседям и выведывать всё, что касалось приезжего и его девочки. Велела ей держать тайны и ухо остро и всякий раз, если б вздумали её допрашивать прежде меня, – как-нибудь сворачивать с вопроса и, тем временем, давать ответы сторонние и незнающие или выпрашивать что-нибудь совсем невзначай, – в том и состояли единственно все наши занятия. Но ученица живо обогнала меня чуть не с первого разу, проявляя способности сверхактивные, так что мне пришлось сбавлять и тушить весь её пыл.

Вот что я узнала.

Этот помещик, который носит эту ужасную фамилию, в которой я всегда что-то подозревала, этот Слостолюбов, оказался хуже, чем самый мой страшный сон. Теперь объяснение, которое не желаю описывать я ни в каких тонах и ни в каких красках! Он назначил час и время встречи, так называемого «показа»!.. Хотел скрыть некоторые обстоятельства дела от публики и потому зазывал в ранние часы. Не могу, ни желаю описывать его внешности. Ведь впечатления мои о нём составились раньше, чем я впервые его увидела. Это был

кудрявый рыжеватый господин, лет средних и с реденькой заострённой бородкою, сложенный в форме бочки уже давно и находящийся в ней всё далее и более совершенный простор и уют, как и английский ростбиф, который всякий раз рад удаче и новоселью в безднах желудка своего хозяина. Он держал какой-то план на счёт этой девочки.

Мне стыдно продолжать. Щёки мои алеют, и невольно злость на всё и всех берёт, а потом откуда-то берётся и эта бледность, и эта тоска, и эта дрожь, только что вспомню я о той несчастной...

Её судьба непроста. Как после и уже окончательно я узнала, она не имела ни кого в мире, совсем оказалась сиротка. Её сдали в один приют, когда ей было столько возрасту, когда дети многого ещё не могут помнить, но когда многое и главное уже ощутили. О, верите ль, добрый мой Аркадий, эти дети могут вырасти и быть злы на всё, всё, – здесь их правда и их права. Но узнаете ли причину? Не думайте, что всему виной лишь одно их одиночество и бедность. Помните, говорили, что «маленький и бедный человек раньше всех правду отыщет», но тем и несчастнее будет. Эти дети прежде ощутили сердцем, нежели сперва дошли умом. А, дошедши, уже взрастили в душе своей ядовитые плоды. Ведь никто же на земле не растолковал им причину их резких чувств, внезапных слёз и снежных вихрей, никто не пришёл прежде, чем нахлынула тоска, и никто-то не оберёг от злобы, когда уж миновал отведённый срок всему их детству. Не примет и

не поймёт его никогда никакой ум, всё измеряющий лишь правилом и законом, для которого все тайные изгибы живут лишь в одном прямом только виде. Всему нужно тепло и сочувствие, как бы ни было оно своевременно и дико.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.